

Любовь ШАШКОВА МАМА, РАССКАЖИ МНЕ О ВОЙНЕ...

«На шестой день моего пребывания в батальоне пришёл приказ: “Выбить фашистов из деревни Василёвка”», – эти строки из книги Дж. Мавлетова «Корпус шел на запад...» прочитала я в воспоминаниях белорусского учёного, доктора филологических наук Вячеслава Рагойши о выдающемся казахском поэте, лауреате Государственной премии КазССР Жубане Молдагалиеве. По свидетельству автора книги, участвовал в том освободительном бою за мою родную Василёвку и лейтенант Жубан Молдагалиев, корреспондент газеты Северо-Западного фронта «За Родину». Открылось это мне в прошлом году при работе над архивным сборником документов «Породнённые войной и целиной». Хотя знакомы мы были с Жубаном Молдагалиевичем с начала восьмидесятых, когда готовили на Казахском радио запись его поэмы «Я – казах!». Пусть эта моя публикация будет низким поклоном всем казахстанцам – освободителям Беларуси, выжившим и погибшим, за их ратный подвиг, за нашу кровную породнённость под знаком великих потерь и Великой Победы.

*В тот год,
В тот сорок первый,
Сорок страшный
Горела Белоруссия моя,
И уходила в беженцы семья
От сада почерневшего, от пашни.
Стонала Могилёвская дорога –
Дорога первых горьких вдов войны.
Там деды, поседевшие до срока
И за день повзрослевшие сыны,
И мамыны запёкшиеся губы*

*В глухом бреду тифозного огня...
О если бы лоскут холстины грубой
Да на горбушку хлеба обменять!
Как выжила она на той войне
В сырой землянке за Березиною?
Мне б до неё дотронуться рукою –
До девочки, что жизнь подарит мне.
О как бы мы делили на двоих
Все горести лихой години нашей...
Как свято поклоняемся мы павшим.
Не дай нам, Боже, забывать живых.*

Родители мои – Шашков Константин Васильевич и Шашкова (в девичестве Мороз) Александра Федосовна, урожденные белорусы, в годы войны оказались на оккупированной немцами территории. Папа был 1930 года рождения, мама – 1931-го. Папа был угнан в Германию в 1943 году, был в концлагере Дессау, но на вольных работах – из лагеря их водили работать на оборонный завод. Мамина семья, помогавшая партизанам, когда их деревню сожгли, ушла в беженцы, прибилась к партизанскому отряду, вместе с ним попадала в окружение. Родители никогда не называли себя участниками войны, не стремились получать какие-то льготы, считая, что в войне пострадала вся Беларусь. И только в девяностые годы, когда Германия, покаявшись перед миром за фашистские злодеяния, стала выплачивать компенсации узникам фашизма, родители нашли соответствующие документы и получили удостоверения участников Великой Отечественной войны. Конечно, как в каждой семье, прошедшей через войну, в нашей были свои изустные предания и воспоминания. Мамины воспоминания о войне мне довелось записать уже после смерти отца. А теперь и мамы нет с нами. Но осталась эта беседа 2005 года на нашей даче под Бобруйском. «С чего начать?» – растерялась мама, увидев включенный диктофон. «Начни с начала»...



Семья Мороз из деревни Василёвки Паричского района Гомельской области.
Одна из многих, помогавших партизанам. Довоенное фото

– Родилась я в деревне Василёвке Паричского района Гомельской области, сейчас это Могилёвская область. Родители мои Мороз Федос Поликарпович и Мороз Федора Гавриловна (в девичестве Пищик) до войны работали в колхозе. Во время войны скитались – были эвакуированы, потом были в партизанах. Когда нас освободили, пришли домой. Деревню нашу немцы спалили – ни кола, ни двора. Выкопали ямку, не успели сделать землянку, как папу забрали в армию. А мы остались – мама, брат Жора, ещё не совершеннолетний, и сестра Маня – слаборазвитая и немая. Мы с ней из двойнят. Самим пришлось уже землянку эту прикладывать соломой, присыпать землей, сообразили печку и так зимовали зиму с сорок четвертого на сорок пятый год.

– Разве дед воевал? Я что-то об этом не знала...

– Он был призван в трудармию. Благодаря этому я смогла по его записи в военном билете, сохранившемся в московских архивах, выправить свой возраст, когда пенсия подошла. У нас же сельсовет сгорел, метриков не осталось, и возраст давали на погляд. А я маленькая, худенькая была, и мне на два года меньше дали. Мы же в войну не учились, и нам для школы было лучше меньший возраст иметь. А кто-то прибавлял года, чтобы уйти с действующей армией, как наш Жора хотел... Папа работал в Минской области, охранял лес. В сорок пятом родилась Валя. И мы начали, когда папа вернулся, строить хоть какой-то домишко себе. Разбирали греблю – мощёную дорогу такую, которую немцы заставили делать из остатков сгоревшей деревни, чтоб не буксовали их танки да машины, когда они отступали. Из этой гребли мы построили маленькую хатку себе, и жили в ней до сорок восьмого года. А потом начали строить большой дом, лес нам дали в колхозе бесплатно. Мы ходили с папой и братом его валить, тесали лес прямо в лесу, чтоб легче вывезти машинами. А когда до крыши дело дошло (крыли дранкой, деревянной дощечкой под вид черепицы), так разбивали дерево на куски и на плечах выносили через болото, а от болота домой возили на корове. В общем, хватило лиха, но построились.

– Это тот наш дом в Василёвке, который уже мы знали, где я росла?

– Да, да. Деда нашего трудовая хата.

– Но до войны же дед тоже вроде строил хату?

– До войны сильно плохо жили в колхозе. Мы все искали хорошего места. Папа мой не боялся работы. В тридцать третьем решили ехать на Украину – а там голод, вернулись. Потом поехали в Сибирь – там засуха – опять вернулись. Это уже было перед самой войной. Не одни мы ездили, у нас как-то в деревне люди легко с места снимались, как цыгане. Много семей было и в Сибири, и все назад уехали – опять в свою Василёвку. Вернувшись, мы жили в чужой хате, свою ставили уже в войну. Только построились, тут нас эвакуировали в беженцы. Был конец сорок третьего, может, я тебе скажу, месяц ноябрь...

– Так немцы же вас заняли сразу в сорок первом. Что за беженцы в сорок третьем?

– Так мало что заняли. Они ж нас не эвакуировали. А немцы сразу были знаешь какие хорошие, о-о-о. И супу давали вкусного, придёшь, бывало, с котелком, и конфеты давали. Это когда они наступали, а уж как отступали, тогда они и стали палить деревни. А сразу не трогали никого. Да они у нас в деревне и не стояли. Приездом приедут, покупаются в Березине, а мы ж – дети, нам интересно, и мы туда – на берег. Они: «Эгей, киндар, эгей, киндар!» и конфеты дают такие длинные, крученые.

– А потом как получилось, что вы в беженцы пошли и жили в землянках?

– В сорок третьем немцы пришли и повыгоняли всех из домов – всю деревню, и стали жечь. Осталось три человека, которые не ходили. Они и сгорели с хатами своими. Эвакуировали нас в Стасевку, ты же знаешь, это неподалёку. А в Стасевке загнали в школу всех, и все думали, что будут жечь. Тогда ж всех палили, загоняли и палили народ, так боялись все. И кто мог утекти – убежали. И мы семьей убежали. И вот только в конец деревни зашли, как поднялась такая метель, такая метель... Папа уже был верующий – баптист, и мама тоже, и они всё молились Богу. И вот метель такая поднялась, что мы зашли за гумно и спрятались, и немцы, которые сзади шли, не увидели нас. И так получилось, что мы перешли через поле и пришли к людям, как сейчас помню, Яков хозяин звался... А через улицу папина сестра жила, Параска, дяди Гриши, ты его знала, мать. Мы там в землянке у этих чужих людей день пересидели и ночью вышли, чтоб к партизанам перейти. С лесом же связь всю войну была. Дядька Иван, муж тетки Сони, маминой родной сестры, был в партизанах. Мама хлеб им пекла, они приходили к нам, дядька Иван и все знакомые.

– Дед Иван, который ездил на коне с телегой и нас катал на огородах у Березины, он был партизаном? Его ж никто и не чествовал особо...

– Никто никого не чествовал в то время. Но как участник войны пенсию он получал сорок рублей. Работал в Зеленхозе в Бобруйске, вот и ездил на лошади. А в партизанах был с первых дней войны. И когда мы убежали из Стасевки, с нами ещё одна семья была. А тропинок много, они пошли одной тропинкой, а мы – другой. А темно, и немцы ж кругом, кричать не будешь. Разошлись в потёмках. Мы пришли к Березине, и тут стоит лодочка маленькая такая, челнок, папа нас на нём по одному и перевез на тот берег. В тот год зима была легкая, все говорили – сиротская зима, и Березина не замёрзла. А у мамы на руках был маленький ребенок, родился у нас осенью, Володей назвали. Мы переехали, и не знаем куда идти: куда ни пойдем – кругом проволока, всё кругом проволокой обгорожено колючей. Попали в какую-то загородь. Ну что? Встали на колени, помолились Богу и остановились. И сидели так до утра, до рассвета. А когда рассвело, тогда уже папа огляделся, что мы пришли, где немцы копали

окопы, вот это и было огорожено. И вскорости уже приехали рабочие, и уже немцы «гер-гер» – разговаривают, мы это всё слышим. С места не сдвинешься, мы и сидели до вечера в кустах на холоде зимою. И так Бог дал, что и дитёночек не плакал непелёнатый, а он родился в сентябре на Пречистой – на Рождество Пресвятой Богородицы. Потом уже слышно стало: немцы уехали, рабочий день кончился. Папа маме говорит: бери дитя на руки и иди в деревню. Слышишь, петухи поют, иди на голос. Если немцы тебя встретят, скажи, что ты из Стасевки, идешь к матери, что заблудилась. Мама и пошла, и вышла в конец деревни Полянки.

Зашла она в первую же хату, у неё сразу с рук дитя забрали на печь, и там уже женщины давали его пеленать и обогревать. А мама сказала, что у неё семья. Говорят: иди за семьёй. И пока мы пришли, хозяйка картошки наварила и поставила большую глиняную миску холодца, накормила нас и всех на печь – греться, а печь большая русская. Ну а по деревне пошёл разговор, что семья из Василёвки пришла. А в той деревне замужем была наша деревенская Маруша, Мария, она и забрала нас к себе. Мы у неё всю зиму жили, уже и Рождество, праздники прошли, и уже на весну повернуло. А весной была облава на мужиков, их забирали в Германию. Папа решил бежать, а с ним два хлопца. Немцы за ними в погоню погнались с собаками. Он остановился и говорит: вы бегите, вы молодые, а я вас прикрою. Хлопцы удрали, а он остановился, да и молится Богу. Собаки подбежали, за рукав его жуют, жуют, он в полушубке был, но не кусают, понимаешь? Пришёл немец, который с собаками был, остановился, за ним – начальник, папа говорил, с кокардами, стал натравливать собак на него, а они всё равно не кусают. Немцы обыскали его, в кармане нашли только маленькое Евангелие, спрашивают: баптист, баптист? Гуд, гуд, баптист... Ну, он попросил у них разрешения помолиться. Встал на колени, помолился. И они привели его в деревню.

А в деревне уже хозяйка нас выгнала, потому что сказали: Маруша, обложат хату соломой и спалют. Мальчик наш ещё зимой умер, мама за Маню – и на улицу. А я как увидала, что папу ведут под винтовками, как стала кричать, и уже столько кричала! Я очень папу любила. Мне сказали: не признавайся, что он твой отец, а то убьют. А я говорю: убьют папу, пусть и меня застрелят. Под ноги падала этим немцам да просила отпустить его. А косы у меня были большие, они схватят за волосы, откинут меня, а я опять, опять туда. Ну, привели папу к коменданту, в другой конец деревни. Народ собрался. И представь – чужая деревня, а стали нести кто яички, кто масло, кто что мог – выкупать его. И нашлася женщина, учительница, переводчица, Пшеничная



Константин Васильевич Шашков. 1950 год. Бывший узник концлагеря Дессау. Один из многих, угнанных из Беларуси в Германию в 1943 году

Лида. Она по-немецки с ними поговорила, сказала, что он человек хороший, вредительством не занимается, ни в какие партии не вступал. Вечерами собираемся, молимся, он нам читает Евангелие. И его отпустили, даже копать окопы не забрали. Представь себе. Ну, а мы на третий день ушли в партизаны. Там уже скитались, всё было...

— А с этими людьми в Стасевке что стало, которых в школу собрали, когда вы спрятались за гумно?

— А их погнали в Бобруйск и хотели в вагонах отправить в Германию. А тут в Бобруйске много было наших василёвских, узнали об этом и пошли — выкупили. Немцев можно было за яички, за сало подкупить, как хочешь. Иван Евгенов там был такой из Василёвки. Его только спросил главный немец: ты их всех сможешь разместить? Всем дам место, сказал тот.

— Так, может, если б вы не спрятались тогда в метель, то так и жили бы себе в Бобруйске тихо всю войну...

— У кого б мы жили? Ой, тут ещё больше голодали в Бобруйске. Думаешь, они жили в городе? Они все повтикали. Все из Бобруйска ушли, куда кто мог. Осталась только Иванова родня. В деревне ж ты живешь — у каждого в подполе картошки сколько хочешь. И драники делали, и что хочешь. В войну и коров резали, и мясо несли друг другу, ну много и партизаны забирали. А в городе? В городе голодали.

Переправились мы через реку к партизанам. Недалеко от Березины у нас есть Крукова Града, так называется. Там землянку такую маленькую выкопали — прятаться, в ней даже если валетом — и то только боком лежать. И лежим день. А вечером вылезаем, чтоб воздухом подышать и сделать костёрчик какой небольшой, чтоб дыму не было, чтобы хоть воды подогреть в котелке. Это уже последние месяцы были перед освобождением. Ну а партизаны — рядом, где мы были, там центральное их партизанское гнездо. Наша землянка была, а около неё дуб рос высокий, так там всегда часовые стояли, наблюдали.

— Ты рассказывала, что они всё время просили: девочка, залезь на дерево...

— Да, да. Сведения про другие расположения нужны были, они ж не в одном месте располагались. Три места было. Наше — Крукова Града, другое место — Лявонов Курган. А там — Свирна Града... И землянки кругом. Так часовые что с дуба увидят, на бумажечку запишут, мне бумажечку в косы вплетут, я и пошла, понесла сведения. Один раз встретили меня. А пойми: это полицейский или партизан? И полицейские в своей одежде ходят, и партизаны — в гражданской. А я шла через болото, там две жердочки лежат, но я очень хорошо прыгала по этим кладкам, как коза. Я прыг-прыг, прыг-прыг. Подняла глаза — идут двое. Остановились, — и я встала. «Девочка, куда ты идешь?» — «В лес». — «Откуда ты идешь?» — «Из лесу».

Что они допытывались — ничего они у меня не допытались. Собрались и пошли. А я дошла туда, куда отправляли, там наши василёвские были, Петро один звался, теперь умер уже. Я расплела косы, дала им сведения. Попить мне дали что-то, не помню. Пошла я назад. Прихожу, а они, эти двое, у нас, под дубом. И спрашивают: «Чья это девочка?». Мама говорит: «Моя». — «Вы так смело её отпускаете». Мама говорит: «Время такое, кому-то надо быть и смелому. А что делать?»

Такие дела... Представь себе, как рисковно жили. Ну, потом уже теплей стало. Цветы расцвели на лугу, где-то утки яичек нанесли. Я один раз шла и нашла утку. Девять яиц было, понимаешь? Хотела забрать, но пожадничала. Думаю, пускай к Пасхе будут, может, ещё снесет. Прикрыла травичкой и по-

шла. Пришла и маме рассказала. А мама говорит: что ж ты не забрала? А человек за мной следом шел язвинский (из деревни Язвинцы – *Л. Ш.*) – нашёл да и забрал. Да нам ещё и похвастался. Вот плакала я, было слёз!

Когда наши пришли, мы первые увидели с нашего дуба с партизанами, как первый катер пришел на Березину с красными флагами. Побежали – кто как мог, кто как мог – к берегу! Недалеко было – километра полтора до берега. Такая радость! Ну, тут уже и нас освободили.

– Мам, если посмотреть вокруг нашей дачи, что у Доманова, так всё изрыто окопами, воронками. И если знаменитое сражение – бобруйский котёл был, то, наверное, сильная канонада, артиллерия стреляла...

– Этого я не знаю про котёл, наблюдала только то, что у нас там было, а Василёвка километрах в двадцати семи от Бобруйска... Когда наступление началось, канонада стала привычной. У нас несколько раз немцы облаву делали. Но спасало болото, луг заливной. Они ж в него не полезут, немцы себя берегли, идут, стреляют куда попало, эти пули – пук-пук – в воду. Сидишь как в аду. Слава Богу, никого не убило. А Маня опасности не понимала, а ещё кашель мучил, так на кочку большую её покладём, потом платком – большой такой платок-укрыванка был – её накроем и ещё веток на неё положим и меня посадят сверху, чтоб не слышно, как она кашляет... И сидим, пока немцы пройдут. Пройдут, постреляют, мы даже разговор их слышим, другой раз все наши курени, все землянки, костры, печки пораскидают... А мы в болоте сидим, лоза, знаешь, она ж густая, ничего не видно. Но страху!..

А землянки так были сделаны: в середине костер горит, сверху дыра для него, вокруг земляное возвышение, чтоб детям лежать. Костёр ночью потух, на голову снег нападает, утром встаёшь и голову поднять из-под снега не можешь. Опять костёр разложат, немного согреют нас, хлеба дадут. В кипяток его помочишь, помочишь, попьёшь кипятка, дальше ждешь, пока суп какой мама сварит. Папа с мамой ездили иногда за продуктами в свою деревню, переправлялись через Березину, на реке был спрятан папин челник. Все люди ездили за своим хлебом, который закопали в землю осенью, от немцев всё прятали. Теперь откапывали и привозили. У нас были даже сделаны жернова молотье муку. Но ведь тоже – какой риск, лишний раз не поедешь.

И вот как-то продукты кончились, не было чего есть. Родители оставили меня с Маней и ушли. Затаились мы. И тут я слышу, будто собака лает. А немцы всегда с собаками ходили. И я уже слышу лай возле самой нашей землянки. Господи! Как я испугалась за эту Маню, схватила ее да – под нары, что из жердей были сделаны. Спрятались, сидим с ней. А в это время наш парень василёвский к нам пришел, он был в партизанах. А темно, и я не знаю, кто там пришёл, вроде по голосу слышу, что это Миша, но боюсь отозваться. Он давай звать: «Где вы спрятались? Это лиса лает, это не собака». В лесу нашем и правда были лисы, они совсем как собаки лают. А я думала – это немцы опять явились. Я вылезла, он растопил печку, от неё немножко светлей стало. И сидели мы до утра, а под утро уже папа с мамой пришли, откопали в деревне бочку с ячменем, принесли, сколько могли, ячменя. Миша им рассказал, что тут было, мы плакали, что страху столько натерпелись.

Потом все болели тифом. Сначала заболела мама, потом Маня, потом я. Как мы выжили, когда ни есть, ни пить нечего! Но из нашей семьи никто не умер. А людей очень много умерло от тифа, только из нашей деревни тринадцать человек. За нашей землянкой начиналось болото, а за болотом курган был, там и сделали кладбище. А людей в беженцы ушло много, потому что

в деревнях жить было опасно, они пачками детей брали в Германию. Да и в деревне, как до сорок третьего года жили? – ночью партизаны идут, а днём – немцы да их прихвостни-добровольцы. Растаскивают кто что может. Кур не могли вырастить – цыплятами изничтожали! А под видом партизан ходили вообще бандиты, грабили людей. Всякое было.

– А вот то, что вы партизанам помогали, вы же так и не числились в партизанах...

– Мы не числились в отряде именно, но помогали, чем могли, и когда в деревне жили, и когда рядом в землянках. И они нам помогали. Другой раз мясо сами съедят, но нам хоть костей дадут. Кости по три раза варили. Кинем в бульончик щавелью, вот и суп. Очистки картофельные мыли и варили.

– А как получилось, что дядя Жора отбился от семьи?

– Когда выгоняли нас из деревни в Стасевку, скот весь успели вывести через Березину на луг, куда немцы не ходили. А Жорик был старший, ему уже лет четырнадцать-пятнадцать, его с коровой и отправили. Когда мы ушли из Стасевки, он туда явился. А нас ни там нет, ни на лугу. Ну и решили, что мы утонули при переправе. А в Стасевке ещё был мамин брат, дядька Фёдор со своей семьёй. Они, уходя, его с собой забрали. А в партизанах они уже встретились с дядькой Иваном и с тёткой Соней, и бабушка наша там с ними была, и детей своих четверо. Его там и приютили. И потом они уж за фронтом жили, там уже наши пришли войска. И его, как сироту, пристроили в военном госпитале работать. Он там воду носил, картошку чистил – что ему говорили, то и делал. И там же питался. А что дадут, он принесёт бабушке домой, и она его жалела, смотрела за ним. И когда нас красные освободили, то он не скоро пришёл домой. Считал, что ему некуда идти. Думал, что останется при полку, сыном полка. Но потом кто-то сообщил ему, что мамка жива и дома. И в одно прекрасное время я вышла на дорогу, смотрю: что за мальчик идет, с курганка волочится, где клуб теперь стоит в Василёвке. Такой свитерок на нем дряхленький. И я узнала его, и он навстречу уже бежит. Так обнялись, что попадали.

Хватило переживания. И холод, и голод – всё было. И чесотка заедала. Ладно, наш белорусский народ ко всему способный. И в партизанах бани ладили. Рыбу ловили. Папа сплёл коши, и весной уже мы были с рыбой. Принесет таких толстых полешек, растопит костер. И на костре мама даже блины пекла. Весной голода не было уже. Щавель уже был, рыба. Но и при освобождении много народу гибло. Наша одна деревенская семья жила при партизанах, а немцы вокруг, отступая, заминировали всё. Люди знали об этом. Семьи проводники выводили. И их повели. А они бабушку свою больную оставили – ты медленно идёшь, посиди, мы детей отведём, за тобой вернёмся. А она подождала, подождала, да и пошла. И подорвалась.

– А как Петя, старший твой брат, погиб? Это ж в начале войны было?

– Нет, не в начале. Петя погиб в начале сорок третьего, 12 января. Тогда жили ещё в деревне, в своей хате. А он работал в Бобруйске, на погрузке вагонов, уголь немцы собирали и к себе в Германию увозили.

– Расскажи, как деньги он нашёл, из-за них же всё...

– Это в сорок втором году весной было, немцы забирали в колхозе скот, колхозный ещё скот, и отгонять его надо было в Паричи. Так тоже по очереди староста в погонщики отправлял... И вот он погнал этот скот, а в Бялицах на мосту сигаретка лежит. Он поднял эту сигаретку, развернул, а там золотая пятёрка. Ну, он никому не показал, за неё – да в карман. Он был с такими

мужиками, что если б показал, они б отобрали. А когда пришел из Паричей, уставший, на печку залез спать и вспомнил про эти деньги. Достает из кармана да и показывает маме. Он же был уже большой, восемь классов окончил до войны. Говорит: мама, я никогда таких денег не видел, ты посмотри, какую я денежку нашел. Мама посмотрела: сынок, дай её мне. То золотая пятерка. Ну, он отдал. Мама её хранила. А Жорик посмотрел, говорит: я тоже находил такую. А где дел – не помнит, может, кому отдал. Он был такой безалаберный.

– А золотая пятёрка – это большие деньги?

– Да, большие, золотом обеспеченные. А потом стали брать в Бобруйск на работу, 12 человек из деревни разнарядка была, и его взяли. А он был маленький ростом. Посмотрели немцы – и отправили назад. Осталось 11 человек работать. На следующий раз опять поехали, и опять его направляют – такой настырный староста был. А Петя умел по-немецки говорить. С немцами заговорил, те – ладно, киндер, гуд, будешь работать. И поставили его хлеб возить и раздавать рабочим. И старшим по общежитию, где они жили. Он хлеб повёз, а там пленные наши сидели за проволокой, среди них был один минчанин. Петя с ним познакомился, а тот попросил: Петя, может ты достанешь золото, я бы выкупился, меня б немцы отпустили. Сказал, что он преподаватель, что когда война кончится, он устроит его и учиться, и работать в Минске: «Я не забуду твоей помощи». Петя рассказал всё это дома и попросил эти гроши у мамы. А мама и отдала – выкупить человека, что ж не отдать?

И вот повёз он обед на объект, где грузили этот уголь, и по дурости показал деньги хлопцам. А там из соседней деревни Красновки один был, тоже Мороз фамилия, он вверху на плите стоял. Была большая плита угля, они его долбили, а внизу брали, насыпали... И так получилось, может, и нарочно, в общем у того Мороза упал топор под плиту. Он говорит: Петя, подай топор. Петя только под плиту, тот с неё прыгнул, а плита эта – на Петю и задавила. Но когда его раскопали, ни кошелька, ни денег – ничего не было. Так он погиб. Это было в январе, в сорок третьем году. Немцы такого шуму наделали, вроде из-за того, что его обворовали. Они же сделали гроб и, в чём был одетый – в кожанке, так и закопали.

И почему не разрешали его забирать семье, не знаю. Знаю только, что бедная мама всё млела и млела – в беспамятстве была, не отходили от неё. А мы с Жориком как ударились в слёзы – и каждый вечер, и каждый вечер в рёв... И начали приставать к маме, чтобы откопать его и одеть. И на Крещение его откопали. Обмыли, как положено, одели белый майский костюм, и ветку пришили. Девочка у него была, Таня, принесла она платочек носовой, в руки дали. Похоронили, обед справили, тогда уже немного успокоились. Очень мы Петю любили, он был необыкновенный. За Петину гимнастерку мы дрались с Жориком. И он хочет надеть, и я. И телогрейку его под голову и я хочу класть, и он. И вот как положишь телогрейку под голову, всю ночь он снится, понимаешь? С годами потом забыли немножко, отошло.

– Слава Богу, вот памятник ему поставили на кладбище в Василёвке. Ты говорила, Петя очень способный был...

– Ну, ты что! В Паричах, когда он учился, так другого такого ученика не было на районе. В Паричах было семь классов только, он потом в Щедринах учился и жил. У мамы сестра была в Щедринах, так тётка маме говорила, что через твоего сына и я в почете. Приду в школу на собрание, так не знают, куда меня, говорит, посадить. А её дети не хотели учиться, и ему уроки не давали

делать. Обижали его, особенно сын Ванька и та Анюта, что приезжала к нам потом на Урал. Помнишь? До зимы он у них пожил, а зимой на лыжах стал ездить из Василёвки – ему дали лыжи в школе. В восьмом классе он тогда был. И вот представь, из школы идет пятнадцать километров, дома уроки надо сделать и на завтра встать в шесть часов, чтобы к восьми попасть в школу... Сильно старательный был. Он меня жалел крепко, мы дружили. Мы с ним и лицом похожи были, и волосы такие у него, как у меня, кудрявые. А пели как мы вдвоём! В войну же у нас в доме церковь была. Мама хорошо пела, папа басом подтянет... Я до сих пор его псалмы наизусть знаю, вот в прошлое воскресенье в церкви пела: «А чего ты стоишь, головою поник...»

– Мама, а как тогда того парнишку-еврея в войну застрелили у вас на огороде?

– Это было в конце сорок второго, осенью. Их уже похватили в гетто, он уже скитался, бедный этот дитенок из Щедрина, где Петя в школе кончал девятый класс. И он знал этого мальчику, в одной школе учились, его Сеней звали, фамилии не знаю. Петя его и привёл, две недели он жил у нас в погребе, под полом, кормили его и хотели переправить за фронт или к партизанам. Всех тонкостей я не знаю. Знаю только, что в тот день папа просил его подождать до ночи, что он его в лес проведёт. А может, ночью б партизаны пришли, они ж приходили к нам. А он поспешил и пошёл один. Пошёл вечером, я помню, сумерки были. Он хотел пробраться в деревню Малимоны, а там уже рядом лес... Будто смерть его звала, как папа ни уговаривал. А тут, как назло, полицейский из Дражни Митька объявился – и убил его прямо у нас на огороде. Погрузил на подводу и повёз сдавать немцам, награду получать. Всю войну так и был полицаем, и ушёл с немцами. Люди говорили, что когда немцев стали прижимать, так они их много порасстреливали – и добровольцев, и полицейских.

– А тот однофамилец Мороз из Красновки, который Петю плитой задавил, что с ним потом было?

– Сразу после войны дядя Жора твой ходил с хлопцами в их деревню, чтобы с ним разобраться, но мать его сказала, что он живет в Австрии, и плакала.

– А про папину семью в войну что ты знаешь? Как папа попал в Германию, где он там был, как вернулся, расскажи, если он тебе рассказывал?

– Баба Марья вышла замуж за деда Василя в другую деревню, в Красный берег из Большой конторы, где семья их жила богато. Потом, когда раскулачивали, колхозы создавали – всё у них в колхоз позабирали. А когда война началась, дед Василь сначала на финской был, а баба Марья осталась беременная Любой со старшим Костиком. Он самостоятельный хлопец был. Дорожки ей протаптывал к колодцу по воду. И помогал уже ей как мужчина. А когда началась война с немцами, так немцы раскулаченные хаты хозяевам отдавали. Эта их хата, что около кладбища в Большой конторе, она и была раскулачена. Так Марья с Василием скоренько свою хату в Красном Береге за сорок пудов хлеба продали, а в эту переехали. Батяка твой в войну уже сам и пахал, и бороновал, большой был, 13 лет. И сад вишневый около хаты он посадил, и яблони – белый налив. А в сорок третьем детей забирали в Германию. У нас детей прятали в болота, а у них некуда было, там же высоко, открыто всё – местность такая. Их и позабирали. Много позабирали. В сорок третьем его забрали в марте месяце. А в сорок четвертом они вернулись, освободили их американцы. Ему повезло, что попал он на завод, где пленные французы работали. Он у них был подручный, он же рослый, высокий был, хоть и худой. И они его с

утра уже посылали в город за кофе и хлебом. Батяка рассказывал, что пока он через лесок туда да обратно сходит – уже и обед. И французы делились с ним – кружку кофе нальют из термоса, хлеба дадут. А ещё говорил – в лавке, где он хлеб брал, хозяин отвернется, а продавщица-немка его жалела – сунет ему булочку за пазуху, чтоб никто не видел. Так и выжил, что работал не в полную нагрузку. Да и по Красному Кресту пленные французы получали помощь, кое-когда ему перепадало.

– И всё равно, папа рассказывал, что когда он вернулся домой из Германии, его родная мать – баба Марья не узнала и не пустила на порог.

– Я про это не знаю. Знаю, что как вернулся, пошёл в школу в шестой класс. Тут малярия началась, мать его Марья сильно заболела малярией, потом и он сам. И бросил он школу. А потом стали набирать в ремесленное училище. Пошёл он учиться на столяра. Окончил ремесленное и работал в Бобруйске до армии. Там мы с ним и встретились. А про войну он вообще не любил говорить. Я даже не знаю, как то место в Германии называется, куда его угнали. Но песню, которую вы с Надей любили петь про Победу, что «мы за ценой не постоим» – он слышать не мог.

После смерти мамы я нашла в её бумагах гродненскую областную газету с некрологом в память Василия Платоновича Пищика, кандидата сельскохозяйственных наук, доцента Гродненского сельхозинститута, умершего на 53-м году жизни. Это был мамин двоюродный брат по нашей бабушке – Федоре Гавриловне Мороз (в девичестве Пищик). В некрологе, в частности, говорилось: «Родился Василий Платонович в д. Василёвка Гомельской области в семье крестьянина. В 14-летнем возрасте он – партизан отряда имени Кирова, действовавшего против фашистских захватчиков в Октябрьском и Светлогорском районах...» Видимо, отряд имени Кирова, где были в партизанах василёвские родственники, – из тех, с кем поддерживала в войну связь мамина семья, с которым и попадала в окружение...

Беларусь

Скуп словарь.

О тебе здесь – болота, подзол да суглинок.

Что ж, об агронауках судить сгоряча не берусь...

Только снова увижу согбенную бабушки спину –

Не на лёгких хлебах поднимала детей Беларусь.

Я увижу: война – и деревня моя Василёвка.

На продрогших плечах только неба линиялый лоскут.

В эту скудную землю легло Василёв её столько,

Что и все васильки их пресветлых имён не вернут.

Только всё же сбылось – поднялась на крылах журавлиных.

В васильковом венке ты мне видишься в дальней дали.

Ну а верить не надо в болота, в подзол да в суглинок.

Кто возьмется замерить состав белорусской земли?